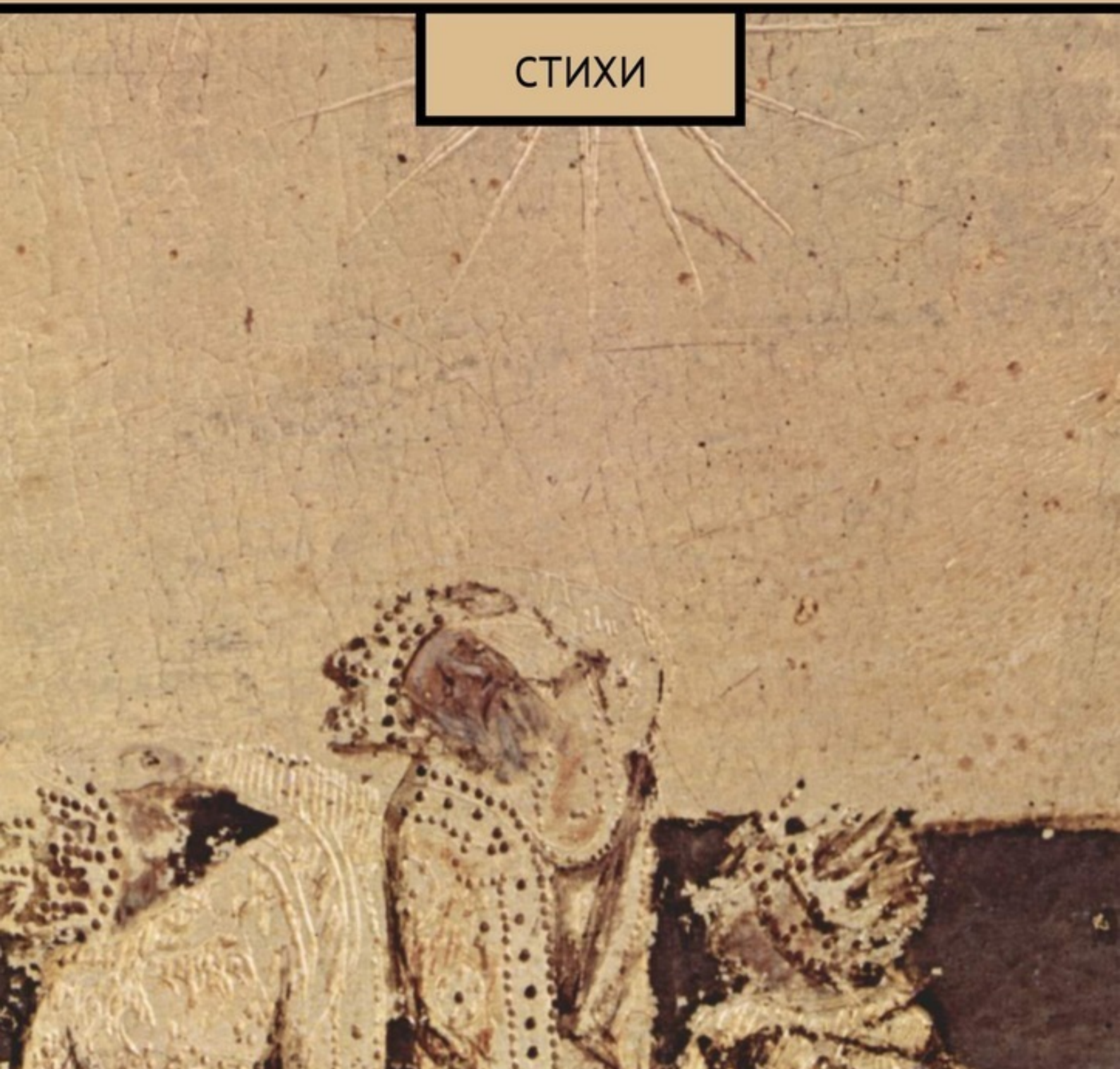


АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ

Кормление облаков

СТИХИ



Александр Иличевский
Кормление облаков. Стихи

«Издательские решения»

Иличевский А.

Кормление облаков. Стихи / А. Иличевский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-858134-2

Новая книга Александра Иличевского «Кормление облаков» объединяет стихи и поэмы, создававшиеся на протяжении пятнадцати лет. Это четвертая книга стихов писателя, многие её тексты посвящены поэтике библейского ландшафта.

ISBN 978-5-44-858134-2

© Иличевский А.
© Издательские решения

Содержание

Стихи	6
Двадцатый век	6
I. Ванзее	6
II. Соль	8
Александр Гольдштейн возвращается домой	15
Сербия	18
К океану	19
Усилие	21
Бычий брод	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Кормление облаков Стихи

Александр Иличевский

© Александр Иличевский, 2017

ISBN 978-5-4485-8134-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Стихи

Двадцатый век

И. Ванзее

Двадцатый век научил камни слезам, но прежде
людей обратил в бесслёзные камни.
Единственное оружие против вечности – память,
и тело обучилось привычкам растений —
с их терпением, привычкой к осени, зиме,
к нестерпимому свету небытия, то есть
к слепящим снегам и безмолвию. Льды
пополнились последним дыханьем
полярных исследователей – несколько снежинок,
слетевших с губ пожираемого вечностью человека.
Гангрена и вечность чаще всего начинаются с ног,
ибо обе не терпят подвижность.
Где я, куда я попал, где здесь выход?
Двадцатый век многое перенял у обеих —
повторяю, у вечности и гангрены, темно
ползущей, как ледяная вода мелководья,
вверх по бедру: все глубже
ступаешь во льды, привнося
горстку кальция в снега. Вечность
на ощупь похожа на материнскую грудь,
с увядшим пустым соском, который
вы теребите губами напрасно, покуда
одинокость приближает к вам холодные губы.
Перистые облака – эти невесомые лезвия,
воздушные ямы безвестности, могилы
летчиков, прозрачные подземелья,
усилия пальцев, сжимавших штурвал
или женское запястье: все это ткань
колыбельной вечности и воображения,
бессильного представить ничто, никого —
сотканного из линий жизни, перехваченной
редкими узелками, – какой-нибудь милой
бретельки,
нечаянно брошенным взглядом на спуске
по эскалатору метро, или: веточка над прудом
с луной,
звук голоса, от которого сердце восходит в горло,
всхлип страдательного залога и тощего ада.
Алфавит рассыпан, утеряны буквы надежды,

часть пристрастной речи не станет рекой

причастий:

горстка крестиков, восставших против нулей
в знаменателе несчетных жертв.

Что еще придумает вечность ради
укрепления собственной власти?

Две-три ноты, «поклонись, что не бросишь»,
несколько слогов позывных и пустые клятвы...

Все это пропой хрипло, как кричат журавли,
покидая протяжно, с тоской, покидая,
стягивая ткань синевы с плоти туч, забывая
о нас, забывая дыхание боли, смысл вообще.

Жизнь на Среднерусской равнине – это
поля перелески, овраги, лазурь,
просеки, рощи, ухабы, священные родники
и папоротник, похожий на орла,
падающего на мышь. Жизнь здесь всегда
растила печаль на скудных почвах.
Круговорот печали и бездействия
дает урожай тоски и небесной лазури
с тонушим в ней жаворонком. Двадцатый
век, как сказал бы Блаженный Августин,
это только долгая полоса беспомощности Бога.

Как же вымолвить слово против?

Плоть первая отринет мир, душа за ней.

Какая выдумка эта Вселенная, зачем она,
если не для человека, если без него, а не без Бога,
возможно все. Иначе – что такое Мамаев курган:
миллион погибших, воплотившихся в молчание.

О войне мы знаем только со слов выживших.

Самое страшное – вот это молчание
большинства. Сгущенная жгучая, как

капля солнца,

тишина, вытолкнутая диафрагмами всех погибших
вместе с последним вздохом. Самолет
взлетает. Половинка розовой луны в луже
перистых облаков, зажженных закатом.

Кончики крыльев подрагивают, как чайчье перо,
выпавшее из строя. Что ждет нас за горизонтом?

В туманной плоти созвездий,

в присутствии незримой

молчащей массы вселенной, способной скрутить
в рог мириады млечных путей и распрямить.

Представьте, что перед вами Джомолунгма, вы
протягиваете к ней руку, и рука входит
в массу горы, как пуля в мыльный пузырь.

Точно так же мы поступаем с Богом.

Так отчего же не допустить, что в жизни
нечто бесконечно весомое и незримое,

сложное до бессмысленности и в то же время
смертельно понятное – притягивает к нам
события, милость, прощение,
наваливается и растирает в прах?
В конце концов, почему звезды
не могут быть ангелами? Почему звезда,
являясь раскаленным, сложно устроенным,
наподобие мозга, сгустком текучих энергий,
не способна мыслить? Сколько путеводных
утешений было послано нам звездным небом!
Падучая звезда иногда сообщает о жизни больше,
чем сама жизнь. И тем более история.
Семейный альбом, кляссер с марками —
правдивей учебников истории. Особенно, когда
смотришь в глаза молчанию. Только молчание
способно уравновесить Вселенную, эту
всего лишь кем-то рассказанную историю.

Осенний лес бежит вдоль берега Ванзее.
В окне поезда сквозь прореженное золото блестит
стальное озеро, утки расцарапывают в нем небо.
Билетные кассы у пристани заколочены до весны.
Лодки выползают на стапеля —
вот как осенью когда-то
вышли на сушу некоторые рыбы. Жизнь
на середине и больше не медлит.
Вокруг собираются тучи руды и облачной нефти.
Звезды огромные, как горящие горы,
приближаются вплотную, прижигают
самую сердцевину. Душа откликается на призыв
и склоняется перед архангелом Метатроном.
В то время как тело наклоняется перед
выставленными на тротуар из лавки
ящиками с подгнившими овощами и дыней.
Последний предел мироздания
совпадает с пределом человека.
Отчасти это утешение. Ведь вселенная
при всей бескрайности и величии – без человека,
без его низости и удивления, без его высот и
равнодушия – ничемная игрушка,
вертящаяся в пальцах пустоты. Лучшее,
на что мы способны: прощение.

II. Соль

Дипломат не должен себя так вести,
но он на нее орет.

Она знает, что не ударит, и потому ни с места.
Он – широкоплечий, высокий, чуть
сутулый, тонкая кость,
лицо узкое, моложавый, седые волосы и челка,
роговые дорогие очки-велосипед.
Она в берете, простое правильное лицо,
дорогая одежда, с неброским изыском,
что там полагается? шерстяная
юбка, пальто. У него трясутся плечи от гнева,
он рубит рукою воздух и так орет, что прохожий
в этой узкой улочке в Вене, впрочем,
не сбавляя шаг, спрашивает: «Все в порядке?»
И он отмахивается, бросая: «Все отлично».
И переходя на свистящий яростный шепот:
«Ты, сука, не понимаешь? Это важный момент,
показать стихи такому мэтру! А ты...
Ты всю жизнь мне палки в колеса вставляешь».
Она стоит прямо и не моргает.
Здесь, в Австрии, мало кто понимает
шведский, финский – и шведы, и финны
часто проводят уикенд в этой уютной столице
вальса, Фрейда, Музиля, Малера,
Виттгенштейна, аншлюса. Он поэт
и дипломат, неудачливый средний поэт
и мелкий старательный работник МИДа.
Нет, она не хочет от него детей, дважды
делала аборт, а он желает свершений,
уговаривает ее пойти с ним на ланч
в литературный клуб Альте Шмидте —
в старую кузню в центре Вены,
в двух шагах от собора Св. Стефана.
В нем находится знаменитое распятие,
на котором закреплен треугольный
ящичек, в каких школьники хранят минералы,
наполненный пеплом Освенцима.
К ногам Христа прах жертв,
для которого у Бога нет объяснений,
поместил папа римский Войтыла.
Старая кузня в полуподвале
под сводчатыми потолками
заставлена верстаками, наковальнями,
гирляндами всевозможных щипцов,
киянок, молотов, молотков, молоточков.
Здесь высится пирамида горнила и старинный
насос-улитка с хоботом для поддува.
Толстые промасленные доски пола,
закопченные стены, здание XVI века.
Великий Поэт стоит за столиком с тарелкой
картофельного салата и бокалом красного,

и отвлеченно думает, что через полчаса
объявят нобелевского лауреата по литературе;
что на этот раз ему, скорее всего, дадут.
А то заждался. С презрением и скукой, хотя
давно уже надо было вручить, конечно.
Старый приятель из редколлегии альманаха
при этой Старой Кузне, где теперь
располагается литклуб, обещал дипломату,
если тот примчится на юбилей падения Стены
из Рима, подвести его к Поэту. Это
необходимо, чтобы произвести впечатление,
запомниться, хоть и смутно, вручить визитку и
взять у Поэта e-mail с разрешением прислать
ему книгу: вдруг понравится и можно будет
попросить отзыв, или даже предисловие?
Жена нужна, чтобы очаровать Поэта, – так учили
их в дипломатическом корпусе. А любовник
жены сейчас в Вене: дипломат-француз,
у него, увы, тоже семья, а то бы она давно
бросила своего неврастеника – от него ни детей,
ни покоя. Да, она и сама не хочет.

Не поймет, почему

она еще с ним. Наверное, потому, что не хочет
детей вообще, но боится себе признаться,
и не желает расстраивать мать с отцом.
Если она сейчас улизнет под предлогом
пройтись по магазинам, она сможет
встретиться с Франсуа в Novotel,
куда он примчался вслед за ней из Парижа.
И ей где-то в кончиках пальцев жалко мужа.
Ах, если бы он не кричал!

Она бы к нему потянулась.

Но последние годы он все время такой.
Совсем спятил со своими стихами.
Чего он хочет добиться от литературы?
Нет ничего отвратительней

отвергнутого любовника.

Она испытывает омерзение, когда видит
в его лице гримасу обиды и плача.
Еще один прохожий обернулся: «Все в порядке?»
Дипломат мгновенно растягивает рот в злобной
улыбке: «Все отлично, мы дискутируем».
И тогда она позволяет себя увлечь в Старую Кузню.
Там толчется толпа и приятель мужа
подводит его к столику, где одиноко
великий Поэт склонился над тарелкой,
над пригубленным, судя по майонезной
полоске от губ, бокалом, в тот самый
момент, когда он уже забывает

о новостях из Стокгольма. Он привык забывать,
он рад, что Господь наделил его счастьем
беспамятства, ибо с ним в жизни
произошло столько всего, что мало
кому из смертных по силам хотя бы
запомнить. «Впрочем, – думает Поэт, —
человек не блоха: ко всему привыкнет».
Теперь он поглощен чем-то другим, тем, что
привиделось сегодня утром, еще в постели.
Ему снилась чужая жизнь, во сне он был моряком,
сошедшим с корабля в Гамбурге и пребывавшем
на Риппербан, в толчее среди
девиц и пьяных туристов.
Он так хотел любви в этой толпе,
так желал женщин,
что сердце поднималось в горло, будто
при первом мальчишеском поцелуе.
Но он не мог подойти к девицам,
взять одну за руку:
во сне он был бессилён по мужской части.
Раньше он никогда не плакал от сновидений.
Он думал об этих слезах по пути сюда, в этот
странный литературный клуб, в какой-то кузне.
Да, куй, пока горячо, скоро ледниковый период,
ядерная зима, наступление Коцита,
мир вообще за последнее десятилетие
стал подозрительно собранным, с суровым
лицом, куда-то подевался инфантилизм,
вымерли левые, что-то случилось с временем,
оно стало насквозь историческим, теперь
нигде нету места личному и безвестности,
тайна стремительно становится явью. «Хотя
у каждой эпохи своя эсхатология», – думает Поэт.
Однако, он не ожидал, что на своем веку
повидает и крушение империи, и адову поступь
ее агонии. «Я проклят и устал», —
думает Поэт и поднимает подбородок,
чтобы кивнуть в ответ на слова дипломата.
Много лет назад этот швед был
на его совместных чтениях с Милошем,
Хини, Бродским и Стрэндом. Поэт
поднимает брови и вспоминает,
что в таком составе где только они не читали:
и в Анн Арбор, и в Илинойсе, и в Беркли,
но не говорит об этом, а снова кивает.
На лице дипломата теперь проступает
гримаса беспомощности, он делает шаг и
притягивает к столику за локоть жену.
Она улыбается, рассыпается в любезностях,

всё, как полагается спутнице дипломата.
Поэт мнет в пальцах визитку, пишет
на ней свой e-mail и возвращает.
Жена этого суетливого парня нравится Поэту.
Но почему он никак не может вспомнить...
Замечает, что ее лицо слепит, будто
ему, как в поликлинике в детстве
капнули в зрачки белладонны.
И вдруг его обжигает. Она
напомнила ему его возлюбленную,
с которой Поэт промучился в юности одно лето.
«Вероятно, дело все в голосе», – думает он
и бледнеет. «Голос и запах – два призрака любви,
способных растерзать вас всегда,
спустя любое время». Больше Поэт
ничего не слышит. В ушах снова
раздаются ее стоны, когда-то
разорвавшие его мозг... Он услышал
их, когда подкрался к окну ее спальни,
на даче в Пярну, где они жили компанией,
время хиппи и автостопа. Она
в ту ночь была с его лучшим другом.
И Поэт снова ощутил, как в горле
собирается комок. Той ночью
он долго-долго шел в темноте
по берегу залива, началась гроза, он залез
под опрокинутую лодку. Гром заглушал рыдания,
шум ливня, большая вода – таким он помнит
свое первое горе. «Отчего же в русской
литературе почти нет полномерных
образцов женских характеров, даже
Каренина – это Толстой, мужчина», —
думает Поэт, улавливая ее запах,
этот мучительный вкус чистой холодной
воды и вишни. Он взглядывает из-под очков
на дипломата. Он не видел ее полвека.
Через несколько лет она вышла замуж,
родила двоих и, говорят, переехала Коннектикут...
Всё, что от нее осталось – образ,
вдруг воплощенный в это тело. Теперь
она находится в двух шагах за соседним
столиком и внимательно слушает мужа, этого
лощеного шведа, зачем-то пишущего стихи.
Господи, да за что же. Мог ли
он предположить, что с ним на исходе
жизни, когда наступление весны
вновь, как в детстве, приобрело
торжественное значение, снова
случилась гроза, разразившаяся за порогом

этой Старой Кузни. Может, здесь трудился
его предок, доставал клещами
раскаленные заготовки, начинал мять их
точными ударами, чтобы снова и снова
попытаться выковать подкову счастья?
Души неуспокоенных призраков капризны.
Он открывает подаренную шведом книжку,
перелистывает, не в силах вчитаться.
Ему нужно сдержать дыхание и
биение раскаленного солнечного сплетения.
Он думает: «Как все-таки эпически
устроено многое в этом мире.
Один хороший человек – совсем не единица.
За ним стоит воспитание и масса
обстоятельств, сформированных или вызванных
к жизни в среднем не случайно. За каждой
элементарной частицей существования
стоят тоже в преобладании хорошие люди.
Родители, предки, учителя, друзья. И
так далее, лавинообразно, вплоть до сонма
и далее в мириады. Точно так же за плохим
человеком стоит воинство – виртуальное и
фактическое собрание плохих людей
и вызванных ими или сделавших их обстоятельств.
Так что в любом отдельно взятом столкновении —
сходятся войска – ангельские и
человеческие – настоящие воинства плохого и
хорошего. Только вдумайтесь, сколько
за нашими плечами событий, слов, людей,
улиц, зданий, неба, пыли, солнца, хлябей».
Та девушка стала его главной хлябью когда-то.
Он едва выжил, летел к ней потом много лет,
как мотылек на свечку. Но позже стремление
сникло, исчезло, и вот уж он и не вспомнит,
когда последний раз думал о ней.
«Впрочем, я прожил слишком долго».
Но нельзя же так просто ее отпустить!
И вдруг его осеняет. Он берет со стола
склянку с солью и посматривая по сторонам,
приближается к ней и ее мужу, становится рядом.
Швед краснеет и говорит без умолку, едва
позволяя поэту вставить слово. Тот, однако,
ничуть не смущен. Дрожащей рукой потихоньку
он приближает кулак с зажатой солонкой
к карману пальто жены дипломата.
Несколько крупинок морской соли
ссыпается на подкладку, катятся по панели
телефона и исчезают в шве. Поэт убирает
руку. Зачем он так поступил? Насолил

в отместку? Вспомнил арабский обычай
из «Тысячи и одной ночи» – мол, если рассыпать
соль, то, чтобы избежать беды, надо
перекинуть ее через плечо три раза.
Он не знает. А еще когда-то римские легионеры
получали за службу плату в виде кусков
каменной соли. А может, он решил
частички древнего океана – того, над которым
носился дух земли безвидной и пустой,
высохшие капли вечности, ее кристаллы,
поместить в подобающую оправу.

2016

Александр Гольдштейн возвращается домой

В тамбуре последнего вагона
поезда Москва-Баку, отчалив от Кизил-юрта,
синие зрачки Севера-деспота
пляшут за кормой в грязном окошке,
прячутся, выпрыгивают снова,
скачут по шпалам, лучатся путевыми
семафорами на разъезде, в лесу рельс,
расходящихся, сливающихся в заповедный
полюс Лобачевского, по лесенке шпал
можно покорить Северный полюс в мыслях.
Худющий как ветка, ушастый парень,
с залысинами под пышной шевелюрой,
обкуренный в дымину, с бородавкой на веке,
вдруг внешне – вот ведь чушь, ничего общего,
конечно, но что-то такое мелькнуло, пусть и
в воображении, но всё же – этот парень
напомнил мне Александра Гольдштейна:
стоит, нервничает, выглядывает в щелку —
в вагонный коридор, где дагестанские менты
проверяют документы, досматривают багаж.
Палец у одного мента на курке «калаша»,
глаза ошалелые бегают, другой ставит каждого
пассажира стоймя, прикладывает к его скуле
разворот паспорта. «А что это – родинка?
Откуда? Тут есть, там нет. Где паспорт получал,
Мирза-ага? Садись, отдыхай. Теперь ты.
Домой едешь? В гости? Где паспорт получал?»

Здравствуй, Саша! Вот таким макарон
везу тебя на родину. Распяли нас эти двое суток.
Тяжело мне, тебе чуть проще:
ни вони ста мужиков, ни духоты, ни стука
сердца – ты летишь со мной на третьей полке...
Вниз лицом, то подмигиваешь, или киваешь,
или повернешься навзничь, на груди

сложишь руки,

закроешь глаза, и я испугаюсь...
Ты знаешь, что я заметил?!
Послушай! За эти семнадцать
лет разболтались рессоры подвижного состава,
и колеса стали выть на поворотах —
долго-долго тянется поезд, меняя азимут,
из последнего вагона видно, как локомотив
набегает вспять окоему, и солнце
падает в скрипичный вой колес. Этот вой

разнимает, колесует душу, тревога, подкравшись,
вдруг схватывает ее как птицу хищник,
на такое способна только музыка:
залить горем или счастьем сердце,
минуя культуру и восприятие, минуя разум,
музыка – это открытый массаж сердца.
Такого я не слышал в детстве, в детстве
колеса стучали весело, или —

на мосту: значительно,
или вкрадчиво – при отправке,
разболтано – на перегонах, а при
въезде на станцию – тише, нежнее:
здесь шпалы ухоженнее, затянуты гайки, путейцы
здесь подтягивают их чаще и добросовестнее,
а к середине перегона уже устают, садятся квасить,
так вот – вдали от детства колесный вой, Саша,
ты слышишь? Он выворачивает душу, запомним
этот стенающий хор. Колеса плачут по ком, Саша?
Господи, как же съели нас эти двое суток.
Левый рельс проходит через ухо,
правый – штопает глаза. Народное мясо
мнет и жмет, и воодушевляет. Сосед —
два года не видел жену, двух детей, работает
таксистом в Москве, знает трассы столицы
лучше меня, – вдруг забирается с ногами,

припадает

лбом к подушке, мы затихаем, вслушиваясь,
как он бормочет молитву; его носки в этой позе
воняют особенно, затем он соскакивает, воздевает
глаза горе и вполголоса в сторону,
для меня – приговаривает:

«Все народы Аллах создал для того,
чтобы они стали мусульманами», – и снова
берется за кроссворды; детям он везет конфеты
и сумку китайской вермишели. В отделении
с нами едет еще старик – Мирза-ага, из Гянджи,
опрокидывая стопку за стопкой «белого чая»,
он называет нас «мальчики», сужденья его мягки,
глаза смирные, и весь он округлый, тихий, но
заводится с пол-оборота, когда
спрашиваем, где служил в армии,
Советский Союз, молодость,
загорается, полощется стягом
в его зрачках, и он повествует нам про

венгерский мир

образца пятьдесят шестого года. Он попал
в Будапешт еще не приняв присягу,
семьдесят два человека, все кавказцы,
ходили всюду под конвоем – на плац и в баню,

автоматчики с собаками плотнее сбивали строй,
как мусорную кучу веник. В Ужгороде их одели
в старые мундиры – в пятке гвоздь,
без одного погона.

Погрузили в теплушки, высадили в Дебрицах,
через неделю. Все думали – Ташкент.

Старый кашевар
заварил солдатам двойной паек, кормит, плачет:
«Третью войну я уже кормлю, всё ей мало.
Это моя третья смерть. Берегите себя, сынки.
Не верьте венграм, даже их деды в вас будут стрелять».
Три года Мирза-ага служил в Хаймашкере,
ходил по девкам, те принимали его за цыгана.
Кругом фермерские хозяйства, поля паприки,
сбор красных лампочек, горящих у щиколоток,
тугих, всходящих к бедрам,

с подоткнутыми подолами,
полные горячей крови руки над краем корзины, —
а также яблочные сады, алма – «яблоко» – на
азербайджанском, так же как и на венгерском.
– Церетем кишлянк! – Девушка, я люблю тебя! —
говорил Мирза-ага своим ангелам, и они отвечали:
– Катуна, катуна! – Солдатик, солдатик!

Эти мясистые ангелы и поныне
не покидают Мирзу,
он весь светится, когда их целует,
произнося полузабытые слова.

Здравствуй, Саша! Вот так я везу тебя домой,
в твое провинциальное болото, ты кривишься,
не желаешь, но я упорен в нашем возвращении,
и снова тяну тебя в прокуренный тамбур, —
всё равно ты лишен обонянья, —

смотри, как пляшут
за окошком рельсы, как полна луна над равниной.
Ты любишь луну, свою девочку, свою ненаглядную?

2010

Сербия

Неоновая стрела моста
над небом русла Савы.
Река в октябре. Еще
утопают в зелени
берега, запах реки,
свежесть осеннего заката,
печаль лунного света
золой и солью ложится
на краюхи берегов.
Так Сербия каждую ночь
погружается в траур.
Дощатая пристань, багор,
причальные тумбы и
рубка сгнившего баркаса,
облепленная скворечниками,
теперь покинутыми.
Я стою перед новым
мостом в Белграде,
в сердце эха войны.
Куда же стремится река,
столько тысячелетий
размывая глубь веков,
постигая небо, лица
людей, стоящих над ней,
глядя, как красавица-река,
запрокинув лицо в созвездия,
отделяет войну от мира.

2016

К океану

[Анатолию Гаврилову]

Замороженный тамбур наполнен дымом.
Плечом к плечу дотягиваем предрассветные сигареты.
Вагон катит в шубе из инея.
Фонари и горящие окна расцарапывают хрусталик.
Глазные яблоки заоченели от ледяных слез.
Всю ночь снятся поезда, разъезды,
платформы – на них надо бежать по
шпалам, чтобы успеть к пересадке:
– Это та платформа? – Нет! – Это тот состав? – Нет!
Локомотивы движутся туда и сюда, как носороги —
со столбом света во лбу. Господи, какая тоска, какая
темень. Господи, убей меня, положи на рельсы.
Пусть раскатают колеса меня по стране. Пусть каждой
частичкой, склеванной воронами, галками, этими
вопящими карликовыми птеродактилями, – я обниму
отчизну. Пусть каждой молекулой пролечу над
рощами, холмами, свалками, реками и полями.
Пусть бедная скудная, как ладони старухи, родина
станет теплее с каждой моей крошкой.
Снова ночь. И снова поезда тянутся в сосущую под
ложечкой даль синих путевых фонарей.
Машинист зорко стоит над пультом, который
вдруг замещается штурвалом.
Крепкие пальцы твердо, румб за румбом,
ведут состав по лестнице разобранных шпал,
карабкающихся на полюс, на Дальний Восток, в Китай.
Поезда, поезда вязнут в бескрайней пустой стране.
Росомахи, обретшие подобие речи, прокрадываются на
полустанках в вагоны. Они забираются на полки,
обглаживают промерзшие тела, начинают с щек.
Они сидят на груди трупов и по-обезьяньи
обшаривают карманы; быстро-быстро рвут
билеты в клочки, снимают часы, надевают на шею,
проворно засовывают себе в очко наличность.
А вокруг темнота, глухота на тысячи верст.
Волки молчат, ибо их глотки тоже обрели
что-то близкое к речи. Всё потому, что пустая
русская земля не может обходиться без звуков
родной речи, ей нужно хоть что-то, хоть волчий
кашель. Машинист тихо, без гудка трогает состав
и снова берется за штурвал. Тихая улыбка
спятившего кормчего застыла на его безглазой роже.
Росомахи, пока поезд не набрал ход, спрыгивают с

подножек и мчатся, утопая в снегу, через тайгу.
Спокойный Тихий океан ждет, когда прибудет
к обледеневшей пристани мертвый поезд;
когда пришвартуется затерянный поезд, полный
людей погибшей страны, обобранных и
с выгрызенными сердцами. Декабрьские волны
станут лупить в причал, брызги захлестнут
подрагивающие под порывами ветра вагоны.
Гул океана – лучшее, что может
присниться поверженным титанам.

2015

Усилие

Теперь пустыня в зрачках, ветер в бронхах.
Тысячелетья шлифуют мозга кору.
Волны мелют песок, он спекается в окнах.
Что ты, песок, мне покажешь? Мечту?
Мне она не нужна больше. Дым
развалин? Глаза отслезились давно.
До марли туч стер меня мой Додыр.
Мне теперь легко, тяжело: высоко.
Сколько здесь ни люби, все равно до смерти.
Выйти из дому, вселиться в песочницу жить.
Кошка за голубем двор пересекает, и дети
не мои, не мои – дежурят в засаде с распятым казнить.
На что Эвридика смотрела, не обернувшись? Какой
горизонт ее ослепил? Чью ладонь
сжимала в своей, чей голос родной
был отвергнут с усиьем: «Не тронь, не тронь».

2011

Бычий брод

[А.Р.]

I

Несколько жизней превратили меня
в пригоршню забвения. В нем так же,
как в ковше Большой Медведицы,
плещется чернота. Но те, с которых
сняли кожу, обгорают даже под звездами.
Чайка спит на скале – в пепле
лунной дорожки ей снится лодка,
синяя лодка горизонта, в ней никого.

Мир, где меня нет, стал моим утешеньем.
Единственное, что остается с человеком
всегда: его сердце. Поэзия и звезды
суть пепел жизни, чей огонь
пылает мегатоннами букв: стихи
клубятся термоядерным костром
на протяжении парсеков, ничего не
в силах предпринять в земной юдоли,
лишь прикасаясь к ней прохладным светом
созвездий, лишь бледнея на рассвете.

II

Когда-то в силу сердечных дел
я жил недолго в Ленинграде, в этом самом
красивом из выдуманных городов мира,
где человек ощущает себя, как во сне.
Империя тогда задышалась, и в магазинах
не было ни продуктов, ни сигарет, ни денег.
Зато будущего было в достатке. Моя подруга
очень любила кота. Она мучилась, что ему
приходится голодать вместе с нами и
готова была пойти на панель, чтобы
накормить кота чем-нибудь вкусным.
По крайней мере, она так говорила, эта
белокурая нимфа улицы Марата с
горчично-медовыми зрачками. В какой-то
момент я заподозрил, что она не шутит.
Ибо два дня подряд мы вместе с котом
питались сервелатом и порошковым пюре
из стратегических запасов Бундесвера:
так немцы решили в лихую пору помочь

великому городу Блокады. Черт знает, откуда подруга брала эти запасы. Она работала в книжном магазине и, возвращаясь за полночь, навеселе, утверждала, что им заменили зарплату пайком из Ленсовета. В третий вечер, снова голодный, и снова встревоженный одиночеством, ревностью, я пришел к Гостиному двору, где обычно промышляли проститутки и спекулянты. Но моей подруги нигде не было! Я бродил в толпе, текущей по галерее, разглядывал молодых женщин, слонявшихся в одиночку или парами. И уж было собрался восвояси, когда ко мне сунулся один мужчина, по виду – не то служащий, не то учитель. Он шепотом предложил... пойти за ним. Я растерялся и сказал, что не против. Но пускай он сначала меня накормит. Он на мгновение задумался, кивнул и исчез. Вот тут-то мне и надо было бежать, но что-то — любопытство и желание обрести добычу? — стреножило мне ноги, и я помедлил. Мужчина скоро вернулся и принес хлеб, яблоки, копченую рыбу, банку сметаны и сигареты. Мы расположились на скамейке во дворе некой усадьбы. Мужчина жадно смотрел, как я разламываю буханку, как кусаю яблоко и перочинным ножом пластаю бронзового палтуса, огромного, как косынка. Вдруг он усмехнулся и произнес: «Между прочим, в этом доме казнили Распутина». Я недоверчиво осмотрелся: скамейки, кусты сирени, бордовый кирпич усадьбы, и что-то промямлил с набитым ртом. Какое мне дело было тогда до странного царя и аморального старца? Наконец, я закурил, и мужчина положил руку на мою ляжку. Я вздрогнул, схватил банку сметаны, будто решил отхлебнуть. Я сдернул крышку и опрокинул сметану ему на плешивую голову. Мужчина ослеп, превратившись в бельмо. Я не мешкал, схватил рыбу и хлеб, и дал деру.

Кот обрадовался палтусу, как родному.
Но два дня потом только пил и плакал.
Так я узнал, что соленая рыба кошкам смерть.

Я вспоминаю этот случай каждый
раз, когда вижу статуи римских

царедворцев, их застывшие до подвздошья
мраморные бюсты, облитые Млечным путем —
из банки вечности: светом галактики,
столь же горячей, сколь и бессердечной.

III

А вот Ричард Кромвель. За робкий нрав
его прозвали Хер Королевы.
При том, что дерзость его отца
даровала Англии конституцию,
фабрики и заводы. А вот король
Яков I. Он любил беззаветно
герцога Букингемского,
называл его и женой, и мужем.
Герцога убил Джон Фелтон,
который в советском водевиле
охранял чертовку Миледи.

А вот хам насилует даму, задрал ей ворох
брюссельских кружев. Одной
кляшней он опрокидывает,
как горн, бутылку с водкой,
другой справляется с юбкой.
По виду этой женщины —
с лицом великой страны —
не понятно, испытывает ли она
боль или наслаждение.

IV

Реликтовый лес Средней полосы
моей отчизны – это дубы и вязы;
нынешний смешанный лес —
березы, осины, ели, сосны —
последствия зарастания площадей,
вырубленных и выжженных людьми,
не способных к интенсивному
земледелию. Когда на месте мавзолея
еще шумели дубовые рощи,
медведи драли кабанов на
Воробьевых горах, а зайцы
отбивались от коршунов
ударами передних лап,
в Оксфордском университете
уже больше века студенты
превращали теологию в науку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.